

Трус — эпизод 2 из 9

Я ее не отговаривал; спросил только, как она думает устроиться со своим ученьем. После, говорит, доучусь, если жива буду. Ничего, пусть едет сестренка, доброму научится.

А что ж Кузьма Фомич?

Кузьма молчит, только мрачность на себя напустил зверскую и заниматься совсем перестал. Я за него рад, что сестра уезжает, право, а то просто извелся человек; мучится, тенью за ней ходит, ничего не делает. Ну, уж эта любовь! Василий Петрович покрутил головой. Вот и теперь побежал привести ее домой, будто она не ходила по улицам всегда одна!

Мне кажется, Василий Петрович, это нехорошо, что он живет с вами.

Конечно, нехорошо, да кто же мог предвидеть это? Нам с сестрой эта квартира велика: одна комната остается лишняя отчего ж не пустить в нее хорошего человека? А хороший человек взял да и врезался. Да мне, по правде сказать, и на нее досадно: ну чем Кузьма хуже ее! Добрый, неглупый, славный. А она точно его не замечает. Ну, вы, однако, убирайтесь из моей комнаты; мне некогда. Если хотите видеть сестру с Кузьмой, подождите в столовой, они скоро придут.

Нет, Василий Петрович, мне тоже некогда, прощайте!

Только что я вышел на улицу, как увидел Марью Петровну и Кузьму. Они шли молча: Марья Петровна с принужденно-сосредоточенным выражением лица впереди, а Кузьма немного сбоку и сзади, точно не смея идти с нею рядом и иногда бросая искоса взгляд на ее лицо. Они прошли мимо, не заметив меня. Я не могу ничего делать и не могу ни о чем думать. Я прочитал о третьем плевненском бое. Выбыло из строя двенадцать тысяч одних русских и румын, не считая турок... Двенадцать тысяч... Эта цифра то носится передо мною в виде знаков, то растягивается бесконечной лентой лежащих рядом трупов. Если их положить плечо с плечом, то составит дорога в восемь верст... Что же это такое?

Мне говорили что-то про Скобелева, что он куда-то кинулся, что-то атаковал, взял какой-то редут или его у него взяли... я не помню. В этом страшном деле я помню и вижу только одно гору трупов, служащую пьедесталом грандиозным делам, которые занесутся на страницы истории. Может быть, это необходимо; я не берусь судить, да и не могу; я не рассуждаю о войне и отношусь к ней непосредственным чувством, возмущенным массой пролитой крови. Бык, на глазах которого убивают подобных ему быков, чувствует, вероятно, что-нибудь похожее... Он не понимает, чему его смерть послужит, и

только с ужасом смотрит выкатившимися глазами на кровь и ревет отчаянным, надрывающим душу голосом.

Трус я или нет?

Сегодня мне сказали, что я трус. Сказала, правда, одна очень пустая особа, при которой я выразил опасение, что меня заберут в солдаты, и нежелание идти на войну. Ее мнение не огорчило меня, но возбудило вопрос: не трус ли я в самом деле? Быть может, все мои возмущения против того, что все считают великим делом, исходят из страха за собственную кожу? Стоит ли действительно заботиться о какой-нибудь одной неважной жизни в виду великого дела! И в силах ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дела?

Я недолго занимался этими вопросами. Я припомнил всю свою жизнь, все те случаи, правда, немногие, в которых мне приходилось стоять лицом к лицу с опасностью, и не мог обвинить себя в трусости. Тогда я не боялся за свою жизнь и теперь не боюсь за нее. Стало быть, не смерть пугает меня...

Всё новые битвы, новые смерти и страдания. Прочитав газету, я не в состоянии ни за что взяться: в книге вместо букв валяющиеся ряды людей; перо кажется оружием, наносящим белой бумаге черные раны. Если со мной так будет идти дальше, право, дело дойдет до настоящих галлюцинаций. Впрочем, теперь у меня явилась новая забота, немного отвлекшая меня от одной и той же гнетущей мысли.

Вчера вечером я пришел к Львовым и застал их за чаем. Брат и сестра сидели у стола, а Кузьма быстро ходил из угла в угол, держась рукой за распухшее и обвязанное платком лицо.

Что с тобой? спросил я его.

Он не ответил, а только махнул рукой и продолжал ходить.

У него разболелись зубы, сделался флюс и огромный нарыв, сказала Марья Петровна.